

Марина Хофф (Гофф)



Моя история

I

Я давно собиралась написать воспоминания о некоторых событиях моей теперь уже 60-летней жизни, но долго не могла собраться начать, в основном из-за лени, а ещё потому, что о страшных событиях во время войны, уже многими столько написано, что тема как-бы исчерпана. Кроме того о судьбе именно нашей семьи мамой написано так захватывающе, что мне никогда не удастся написать также хорошо. Тем не менее, я начинаю эти записки 2 июня 1997 года, ровно день в день два года после маминых похорон. Может быть это частично в память о ней, необыкновенном человеке и необыкновенной матери, дважды подарившей нам с Лёней жизнь, а может быть и потому, что с годами наступает момент в жизни, когда хочется оглянуться назад и оставить о себе воспоминание, в первую очередь детям и внукам.

Ну вот, начну с начала. Я родилась в Латвии, в Риге в апреле 1936 года. Мои родители были тогда уже вполне зрелыми людьми - маме было 35, а отцу все 45 лет.

Ровно за 9 месяцев до того – в июле 1935 года - пышно и торжественно праздновалась их свадьба на знаменитой вилле Медем, до сих пор существующей в Елгаве (40 км от Риги). Семья Хофф (Гофф) принадлежала к богатейшим еврейским семьям Латвии, и была владелицей нескольких заводов, узкоколейной железной дороги Рига - Пярну, солидной недвижимости, куда входила и вышеупомянутая вилла. Всё это благосостояние пришло к Гоффам сравнительно недавно, благодаря усилиям и коммерческим способностям нашего отца Якова и нескольких его братьев. У папы было 8 братьев и две сестры.

Для обоих родителей это был их первый и единственный брак. Мама родилась и выросла в Берлине в семье врача Бертольда Пульвермахера. Это была высокоинтеллигентная европейская, вполне немецкая семья, которую с еврейством связывало только происхождение.

Мама была единственным ребёнком, обожала своих родителей и жила с ними всё время до своего замужества, а потом забрала их к себе в Ригу, где бабушка скончалась в начале 1940го года, а дедушка погиб в возрасте 85 лет от рук фашистских убийц во время войны.

Папа считался в Риге завидным женихом, но долго наслаждался холостяцкой жизнью, и невесту выбрал очень мудро: не по материальному состоянию, а по человеческим и умственным качествам. Познакомились они за много лет до свадьбы в Берлине, т.к. мамыны родители сдавали студентам комнату в своей квартире, где поселилась папина младшая сестра Басшева, по прозвищу Фетти (толстушка). Девушки сдружились, и мама была приглашена ещё в 20ые годы в гости к семье Гофф в Елгаву и Ригу, где её поразил чуть ли не феодальный образ жизни Гоффов с кучерами, поварами и прочими слугами.

До своего замужества мама работала в Берлине в знаменитой фирме де Бур, торговавшей картинами и славившейся своими знаниями в области искусствоведения. Уже в те годы у мамы возник профессиональный интерес и познания в искусстве, которые много лет спустя пригодились ей для работы в Национальном музее в Стокгольме. Её более узкой специальностью были старые голландские мастера. Но надо сказать, что мама была человеком необычайно образованным, знала 6-7 языков, в том числе латынь, прекрасно знала классическую музыку и литературу, не говоря о глубоких и разносторонних профессиональных знаниях. У неё была великолепная память, которую она, постоянно тренируя свой мозг, сохранила до глубокой старости.

Папа происходил из семьи простого еврейского ремесленника-шапочника, очень набожного. Он и его сыновья постоянно молились.

Семья жила в маленьком эстонском городке Вильянди (тогда Феллин), где была известна обилием и живостью детей - их было 9 братьев и две сестры, а также своим гостеприимством, у них всегда был открытый дом. Достаточно характерно об этом говорит следующий эпизод:

Как-то, когда родители были в отъезде, в доме появился приятный молодой человек, о котором все думали, что он приятель кого-то из сыновей.

Поэтому ни о чём не спрашивая, ему выделили комнату, и никто не удивлялся, что он утром выходил на завтрак, а потом куда-то удалялся.

Недоразумение выяснилось, когда он в один прекрасный день попросил счёт. Оказывается, это был чиновник, приехавший в Вильянди по делам, Он спросил кого-то на улице, где тут можно остановиться, и ему указали на дом Гоффов. Он поселился там в полной уверенности, что находится в гостинице или пансионате...

Папа, как один из старших сыновей, рано вынужден был начать работать, и в школу ходил только до 14ти лет. Потом начал помогать отцу в продаже его изделий, перешёл к другим торговым сделкам, особенно успешным во время Первой Мировой войны, когда он вместе с другими имел подряд на снабжение русской армии обмундированием, очень возможно, что торговали и оружием (я это точно не знаю). Результатом явилось то, что уже вскоре после окончания войны Гоффы являлись владельцами солидного капитала, вложенного в разные предприятия и банки, перебрались в Латвию, и зажили на широкую ногу. В Риге на Ганибу Дамбис 5, папа купил большой эlegantный дом с большим участком, где жил сначала один, а позже с семьей. В этом доме я и провела первые счастливые годы своей жизни. В 1938 году родился мой брат Леонард, он на 2,5 года моложе меня.

Мои первые воспоминания относятся к этому времени. Хотя братьев у моего отца было много, ни у кого не было мужского потомства, поэтому рождение сына и наследника было встречено ликованием и пышно отмечалось. При этом чуть не забыли виновницу торжества - маму, находившуюся ещё в больнице. Когда Лёню, или Нардика, как звала его мама, привезли домой, я спросила: Он живой? Ручки и ножки у него есть? (Тогда ведь пеленали детей, и видна была только голова.) В детстве мы с Лёней ссорились, как все дети. В 10-12 лет даже дрались иногда, но несмотря на то, что в силу дальнейших трагических событий даже не всё время росли вместе, мы очень любили друг друга, и сохранили чувства большой привязанности до сих пор, что очень важно и очень помогает жить.

Помимо бабушки и дедушки, которые жили в том же доме, и которых я помню, необходимо сказать ещё об одной родственнице, близком и необычайно оригинальном человеке, добром и широком. Я имею в виду нашу двоюродную сестру Заресту - Зореньку, как её всегда ласково звали. Наше раннее детство неразрывно связано: её семья тоже жила в знаменитом доме на Ганибу Дамбис, пока не уехала во Францию в 1939 году. Зоренька играла со мной, рассказывала мне сказки, и на всю жизнь сохранила глубокую привязанность к нам, особенно ко мне. Надо

ли говорить о том, что я плачу ей той же монетой.

В доме жили ещё повариха с сыном, садовник Яша со своей семьей и две няни - Лёнина и моя. Все эти люди потом сыграли ту или иную роль в нашей дальнейшей судьбе.

Между тем надвигались грозные события. Сегодня, зная всё, что произошло потом, очень легко осудить наших родителей за недалёковидность или за привязанность к насиженным местам и имуществу, что, видимо, побудило их оставаться на месте и не бежать от красной и коричневой опасности, столь неумолимо захлестнувших Прибалтику в последующие годы. На этот вопрос, который мы много раз задавали маме, так и не было получено исчерпывающего ответа. Видимо, никто не представлял себе до какой степени бесчеловечности могут прийти тоталитарные режимы... За свою непредусмотрительность большинство членов нашей семьи расплатились ужасными страданиями и жизнью, не говоря уже о потере всех человеческих прав и потере имущества.

Началось со смерти бабушки. Ей повезло: она умерла весной 1940 года, за несколько месяцев до того, как, согласно теперь столь печально знаменитому пакту Молотова-Риббентропа, советские войска заняли Латвию, и начались гонения на буржуев, на националистов и прочих инакомыслящих.

Двое папиных братьев были высланы в Сибирь, где один из них скончался в концлагере, а второй - дядя Арнольд вернулся в Ригу только в 1955 году. Нескольким другим братьям удалось в последний момент убежать на Запад, а наш папа - глава фирмы - и, так сказать, главный капиталист, где-то прятался, его так и не нашли, когда производились массовые высылки, а потом он снова появился в семье. Я эти события помню очень смутно. Мне тогда было 4 года. Зато хорошо помню, как после национализации всего недвижимого имущества, мы перебрались из нашего большого, красивого дома в дом поменьше, уже съёмный, в пригород Риги Межапарк. Там нам, детям, было не так уж плохо: помню, какой великолепный кукольный дом был у меня, как мы с Лёней съезжали на трёхколёсных велосипедах с лестницы, как хоронили в саду птенчика, выпавшего из гнезда. Там же я впервые проникла в некоторые тайны взрослых, смысл которых дошёл до меня гораздо позже. Шли последние счастливые дни нашего детства, столь трагически оборванного летом 1941 года...

Первые дни войны запомнились мне ужасными бомбардировками. Мы все сидели в подвале, и я дрожала от ужаса при каждом взрыве. Только наш старый дедушка отказывался бежать ночью в подвал, говоря, что его жизнь всё равно кончена, и лучше умереть с комфортом в постели. Он и не подозревал, что ему была уготована гораздо худшая участь.

В конце июня фашисты заняли Ригу, и сразу же принялись уничтожать евреев. К нам в дом явилось несколько эсэсовцев, и велели маме с нами убираться в течение получаса. Она прихватила только детскую коляску, пару одеял и кое-какие детские вещи, в том числе подушечку, в которую были зашиты некоторые фамильные драгоценности. Мы вместе с дедушкой отправились на сборный пункт во дворе другой межапарковской виллы, где собралась колоссальная толпа - все такие же как мы, выгнанные из своих домов семьи. Папа в то время опять где-то прятался, но узнав, что с нами произошло, тут же сам явился на сборный пункт, вероятно, он надеялся каким-то образом помочь нам, но единственное, что он мог - это сказать мама: "Сбереги детей любой ценой". Это были его последние слова. Тогда мы его и дедушку, а также целый ряд других родственников видели в последний раз в жизни. После долгого и томительного ожидания, плача, жажды началась проверка по каким-то спискам, и нам сообщили, что матерям с маленькими детьми разрешено идти, а всех остальных, включая стариков и больных, загнали в грузовики и увезли, по-видимому, в тюрьму. Мы их никогда больше не увидели.

Как мама и другие родственники потом ни пытались узнать что-либо о дальнейшей судьбе своих близких, им никогда так и не ответили. Уже много спустя стало известно, что всего через несколько дней всех их расстреляли в Бикернекском лесу, недалеко от того места, где в 70-ые годы был построен жилой массив Пурвциемс, и где много лет жил Лёнин сын Толя с семьёй. Ирония судьбы: там, где предыдущие поколения легли в безымянную массовую могилу, там теперь живут их потомки! Может быть в этом можно видеть знак высшей справедливости...

Однажды, в 80ые годы, гуляя там с друзьями в лесу, я вдруг наткнулась на заросший памятник с надписью: Здесь немецко-фашистские изверги расстреливали летом 1941 года мирное население, тысячи людей погибли здесь. Вечная память жертвам фашизма! Вот тогда я и поняла, что нашла могилу моих близких.

Но вернёмся к событиям того страшного дня. Всю ночь от Межапарка в центр Риги (около 7 км) тянулся печальный маленький караван, состоящий из нескольких измученных матерей, толкавших перед собой коляски с совсем маленькими детьми и наваленным впопыхах жалким скарбом. Рядом тащились дети постарше, в том числе я - мне было тогда 5 лет.

Дорога тянулась мимо бесконечных кладбищ. Мы просились переждать ночь в избушке кладбищенского сторожа, но никто не хотел нас пускать из страха перед немцами. На нас уже лежало проклятие... Хорошо ещё, что летняя ночь была светла и тепла. Наконец, мы прибыли на квартиру моей тёти, которую ещё не выселили. В её большой городской квартире образовался настоящий перевалочный пункт, масса людей, дети орут. События последующих дней я помню плохо, т.к. тут же заболела. Знаю только, что в начале августа всем ещё не арестованным евреям было приказано поселиться в так называемом Московском Форштате - убогом пригороде, превращённом затем в Рижское гетто.

Там мама сняла маленькую однокомнатную квартиру, в которой вместе с нами некоторое время жила наша взрослая двоюродная сестра Рут, пока за ней не явились 2 эсэсовца и увели её на расстрел. На кухне спал пожилой человек по имени Мофшензон. Он помогал маме вести наше убогое хозяйство, и погиб при массовой ликвидации гетто в конце 1941 года.



В такой необычайной обстановке дети взрослеют очень быстро, вступают в силу обычно не используемые силы психики и разума. Уже в первые месяцы наших злоключений я стала помощницей и поверенной мамы, присматривала за маленьким братишкой, часто плакавшим от голода, старалась помочь, в чём могла.

Вскоре гетто было окружено колючей проволокой, выход за пределы гетто запрещался. Внутри гетто евреям было запрещено ходить по тротуару. Я хорошо помню, как мы продвигались гуськом по проезжей части, боясь, что нас задавят лихо проносящиеся мимо машины полицаев и СС. Все должны были постоянно носить пришитую к одежде жёлтую шестиконечную звезду, причём чуть ли не ежедневно менялись правила, с какой стороны её носить, и приходилось всё время перешивать её, всё это в условиях, когда часто не было ни ниток, ни игл. Тот, кто выходил из дома без этой унижительной нашлёпки мог быть немедленно расстрелян. Это как раз и случилось с моей тётёй Фетти, которая погибла вместе со своей очаровательной шестилетней белокурой дочуркой Элеонорочкой. Накануне мы ещё играли с ней в прятки, а на следующий день её не стало.

Поздней осенью 41 года началась поэтапная ликвидация Рижского гетто. Целые кварталы оцеплялись, несчастных людей выгоняли из домов, вывозили за город и расстреливали. Всё это подробно описано в книге доктора Пресса „Judenmord in Riga 1941 – 1945“, где он описывает и нашу судьбу. Казалось, что выжить ни у кого нет шанса. В это время мама с помощью одного из еврейских администраторов гетто нашла одного офицера, ответственного за посты, охраняющие выход из гетто, который за хорошую взятку - великолепное бриллиантовое кольцо - обещал нас выпустить.

Тёмной, холодной ночью мы шли по совершенно пустым улицам, все жители которых были уже убиты. Страшно зияли пустые, чёрные глазницы окон, жалобно скрипели открытые двери покинутых жилищ, в снегу валялись потрёпанные детские игрушки, фотографии, какое-то тряпье - вещи, брошенные в момент смертельной паники. Было невыразимо жутко.

Мёртвую тишину в любой момент мог разорвать окрик или выстрел. Было скользко, и трёхлетний Лёня часто падал, пытался зареветь, а ходить после комендантского часа было запрещено. Это могло нас сразу сгубить. Каким-то образом мы добрались до постового помещения у выхода из гетто, и узнали, что наш контакт заболел, вместо него дежурил другой. Однако, распоряжение выпустить нас имелось, и через несколько минут мы были за пределами гетто. Трудно описать чувства, охватившие нас тогда, хотя кругом был враждебный и холодный мир военной зимы 1941 года, и мама наверняка понимала, какие жестокие испытания нас ждут. Жизнь наша была по-прежнему в опасности, но этот момент вселил новые

силы и надежду в наши души, и мы поверили в бога и его помощь.

Мы отправились в находящийся поблизости католический монастырь. Надо сказать, что почву для этого мама подготовила за несколько месяцев до того, когда ещё можно было выходить из гетто. Она искала убежища как в католической религии, близкой ей через произведения искусства, так и у самих представителей этой религии - священников и монахинь, которые приняли нас с радушием, хотя рисковали собственной жизнью, пряча нас.

В монастыре мы прятались несколько недель, Это время я помню смутно, т.к. болела какой-то детской болезнью, и слава Богу, что болела как раз тогда: всё же у монахинь были сносные бытовые условия, а дальше пошло хуже. Поскольку SS часто устраивала обыски, а католическая церковь и так была на подозрении, монахини очень боялись прятать нас долго. Приблизительно через месяц, где-то в январе 1942 года, мы перебрались на частную квартиру к двум молодым людям, которые целыми днями пропадали на работе и домой приходили только спать. Как и почему мы попали именно к ним, я не знаю. В их холодной, неуютной, неотапливаемой однокомнатной квартирке, где нам запрещено было подходить близко к окнам, шуметь или каким-либо другим способом выдавать своё присутствие, нам приходилось проводить всё время. Надо учитывать еще, что зима 41-42 года была одной из самых лютых этого столетия - стояли морозы до 35 градусов, так, что в неотапливаемой квартире температура держалась около нуля. При этом постоянный голод (мы ели только то очень небольшое, что наши хозяева отдавали нам из своих скромных военных пайков, т.к. у нас самих, конечно же, не было продовольственных карточек). Не перестаёшь удивляться, как это маме удавалось постоянно чем-то отвлекать нас, чтобы мы не плакали и не шумели. Я помню, как мы часами лежали все вместе в кровати прижавшись друг к другу, чтобы как-то согреться, мама рассказывала нам сказки, а на столе тускло горела убогая свечка - единственный источник тепла и света... Сколько я потом об этом ни думала, я не представляю себе, чтобы я, или какая-нибудь современная молодая мать делала с двумя маленькими детьми в такой обстановке и под таким психологическим прессом. Тут, как и во многих других эпизодах нашей трагической эпопеи, проявилась незаурядная душевная сила нашей мамы, источник которой, видимо, следует искать в её счастливом и гармоничном детстве.

Мама и монахини часто рассказывали нам о добрых ангелах-хранителях. Может быть они и действительно существуют, и в ту ужасную

пору распростёрли над нами свои крылья...

Вскоре нам опять пришлось менять убежище. В феврале мы оказались на заснеженном хуторе недалеко от Риги в местечке Вабите в семье крестьян - католиков. Их церковь просила дать нам приют. Глава семьи был мельник, так что в доме всегда был хлеб - в то время наибольшая ценность. В семье было два мальчика, приблизительно нашего возраста, с которыми мы играли. Один раз в разгаре игры один из братьев чуть не задушил меня верёвкой. Хорошо, что подросли старшие.

Этот хутор и его владелицу Амолиену, теперь уже очень старую, я увидела снова совсем недавно - около четырёх-пяти лет тому назад, т.к. она обратилась в еврейскую общину Риги с просьбой нас разыскать. Это было уже после падения советской власти. Дело в том, что всех, кто так самоотверженно помогал нам в военное время, мама и мы в 50-60 годы разыскали и постарались в какой-то мере отблагодарить. Не нашли мы только вышеупомянутую Амолиене. Оказывается её семья, как кулацкая, вся была выслана в Сибирь, где отец и один из сыновей погибли, сама же А. с дочкой, родившейся после войны, в своё время вернулась в Ригу, и материально страшно прозябала. Как только мы узнали об этом, мама, тогда уже очень дряхлая и больная, тут же послала ей через меня (я в то время бывала в Риге по работе) большую сумму денег, и в сопровождении представителей рижской евр. общины я в солнечный весенний день приехала на такси на запомнившийся мне хутор. А. я бы никогда не узнала, как впрочем, и она меня. Она не вставала с постели, что при её возрасте и состоянии здоровья было весьма понятно. Зато совсем непонятно и шокирующе повлияли на меня её высказывания относительно маминого поведения во время войны, и пересказ наших злоключений в интерпретации А. По её словам выходило, что мама нас хотела отравить, потом бросила, и только мужественное вмешательство А. спасло нас от гибели.

Когда я пыталась ей объяснить, что я сама отлично помню все те события, но совсем по-другому, а она, очевидно, что-то путает, А. так разозлилась, что готова была чуть ли не ударить меня, кричала, что ей ничего от нас не надо и швырнула мне пакет с сувенирами, который я ей передала в начале нашей встречи. Видя её в столь возбуждённом состоянии, и не желая при свидетелях вручать ей крупную сумму долларов, я незаметно подложила деньги в пакет с сувенирами, и поспешила распрощаться. Надеюсь, что она всё же воспользовалась содержанием пакета. Мне лично встречаться с ней больше не хотелось и

не пришлось. Уж больно я была обижена за маму, особенно после того, как некоторое время спустя прочла в одной латышской газетёнке целую статью о спасении нашей семьи в интерпретации А., где последняя изображалась главной героиней. Эту статью мне переслала сотрудница рижской евр. общины, которой я до того в письменном виде послала нашу историю в её правдивой версии. По-видимому, по каким-то политическим или экономическим соображениям общине было выгоднее придерживаться версии старой полу выжившей из ума латышки. Этот нелепый эпизод до сих пор вызывает во мне возмущение.

После нескольких случайных пристанищ мы прятались весной 1942 года у нашего бывшего садовника Яши Батайтиса. Он жил со своей семьёй в низеньком, старом, покосившемся домике недалеко от бывшего роскошного дома наших родителей.

Это были очень сердечные люди, которые не только рисковали своей жизнью ради нас, но ещё и дарили нам тепло и уют. Их дети были старше нас, но охотно играли с нами, конечно, соблюдая все правила осторожности. На улицу мы вообще не смели выходить. Мама выходила только в случае крайней необходимости. После первой ужасной военной зимы, это дало нам короткую передышку. К сожалению, вскоре нам опять пришлось менять пристанище. Слишком опасно было долго оставаться на одном месте.



Тут в нашу жизнь входят два человека, которые сыграли очень важную роль в нашей дальнейшей жизни, особенно в моей - тётя Аня и дядя Жорж Цельмераугс. Они достойны более подробного рассказа. Когда-то тётя Аня выросла в том же городке, что наш папа, и знала всех Хоффов с детства. Она была из прибалтийских немцев, хотя потом писалась эстонкой. Много лет она и её муж работали телеграфистами, и заработали себе скромное состояние в виде двух маленьких дачек на рижском взморье и большой квартиры в Задвинье, пригороде Риги. Оба они вышли из бедных семей. Дядя Жорж, латыш, в детстве был пастухом,

на заре выгонял своё стадо босиком, не имел даже пары туфель, чтобы ходить в школу. Несмотря на такое суровое начало жизни, это был прекрасный, интеллигентный человек, начитанный, хорошо разбиравшийся в классической музыке, живо интересовавшийся политикой, умевший самостоятельно мыслить, и большой свободолюбец. Но, самое главное, он и его жена были добрейшие и честнейшие люди. Достаточно ясно об этом говорит их первая встреча с мамой во время войны.

Маму они до войны практически не знали, может быть пару раз встречали на телеграфе. Когда весной 1942 года нам в очередной раз необходимо было поменять убежище, кто-то из контактов мамы вспомнил про Цельмераугсов, и посоветовал обратиться к ним. Надо сказать, что всякий контакт с новыми, малознакомыми людьми был в то время связан для мамы с огромным риском. Ведь всего вероятнее было наткнуться на людей, не только боявшихся какого-либо контакта с евреями, но и способных выдать нас гестапо. Когда мама робко постучалась в дверь Цельмераугсов, открыла тётя Аня. Она сразу узнала маму, и бросилась её обнимать. "Смотри, кто к нам пришёл", сказала она мужу. Плачущая мама обратилась к дяде Жоржу: "Мне с детьми больше некуда идти. Нас ждёт только смерть." Он посмотрел на неё, на жену: "В тяжёлые времена мы должны помогать друг другу.... Берите детей и приходите." Это нас спасло.

У Цельмераугсов мы оставались почти до конца 1942 года. Помню наши тайные сборы у радио для слушания Бибиси (несмотря на приказ населению сдать радиоаппараты, чета Цельмераугсов сохранила свой старенький приёмник. Так велика была тяга людей к свободной информации). Летом и до глубокой осени они прятали нас на своей даче в Дзинтари. Сами они работали, и только изредка навещали нас, приезжая на взморье на велосипедах, и немного подкармливая нас... Им тогда уже было около шестидесяти. Т.к. кушать нам было нечего, мы много времени проводили в лесу, собирая ягоды и грибы. Из-за войны взморье пустовало, и люди нам, к счастью, встречались очень редко.

Осенью 42 года наступил новый этап наших мытарств: через мамины контакты с католической церковью, мы попали к Tante Grete, религиозной старой деде, владелице небольшого дома в Задвинье. У неё была большая, красивая овчарка Лорд, желанный товарищ наших игр, и запущенный сад за домом, куда мы иногда выходили. У неё мы прожили около 1,5 лет, что нас и сгубило.

Самый сильный эпизод, произошедший за это время, было моё похищение неизвестной особой, видимо, с целью сварить меня на мыло. Но, очевидно, производители мыла были отпуганы моей невероятной худобой, а может быть и ещё чем-то, и отказались от меня. А произошло это так: девочка постарше, жившая в том же доме должна была идти за чем-то в киоск, и предложила мне идти с ней. Мне тоже очень захотелось идти, ведь мы из дома и сада почти не выходили, и я с трудом выпросила у мамы разрешения отлучиться на 15 минут. У киоска к нам подошла незнакомая молодая женщина, и стала нас уговаривать пойти ненадолго с ней куда-то (не помню, куда), за это она пообещала купить нам мороженное. Моя спутница, более разумная и менее голодная, чем я, устояла от этого соблазна, а я подалась на уговоры незнакомки, и последовала за ней. В результате я чуть не погибла. Двое суток мы скитались с ней по городу и взморью, заходили в какие-то притоны, где к счастью мне не нашли применения, сказали, что я слишком худа, ночевали на вокзале, не ели. Наконец она отпустила меня на все четыре стороны, и я каким-то чудом на трамвае поздно вечером второго дня добралась до дому, невытая, оборванная и измученная. Мне было тогда 7 лет... Трудно себе представить состояние моей бедной мамы за эти сутки. Ведь она даже не могла заявить в полицию о пропаже ребёнка, и думала, что потеряла меня навсегда. Когда я явилась, она была близка к помешательству. Меня даже не наказали, и я тут же заснула мёртвым сном. Теперь, 55 лет спустя, я с содроганием вспоминаю этот эпизод, примеряя его к собственным внукам. Молю Бога хранить их, также как он хранил тогда меня.

Наступило Рождество 1943 года. Мы вместе с Tante Grete, активной католичкой, отправились в костёл на торжественное богослужение. До сих пор помню заполненную народом церковь, фигурки святого семейства и волхвов в хлеву, великолепные одеяния священников и божественное пение - всё это произвело неизгладимое впечатление на неискущённую детскую душу. Мы тогда не предполагали, что это будет нашим последним посещением какой-либо церкви на многие десятилетия вперёд.

Видимо, мы слишком долго засиделись у нашей благотворительницы, Tante Grete, и кто-то из соседей донёс на нас, соблаздившись щедрой наградой, которую немецкие власти обещали голодному населению за донесения подобного рода. В феврале 1944 года к нам нагрянуло гестапо, и нас троих тут же отправили в подвалы гестапо,

находившиеся в большом доме на углу Вальдемара и бульвара Райниса. Позже в этом доме КГБ содержало своих заключённых, а много лет спустя нам довелось провести там немало тягостных часов в ОВИРе, хлопоча о выезде из СССР.

Ещё хорошо, что не арестовали старенькую Tante Grete, видимо сделав скидку на возраст и немецкое происхождение. Она сослалась на то, что ей поручила нас церковь, и она не знала, что мы евреи. С этого момента началась наша тюремная эпопея.

Первую неделю или две мы провели в тесной "индивидуальной" камере в подвале гестапо. Было невыносимо душно, жарко, днём и ночью горел яркий электрический свет. Крошечное окошко под потолком было недосягаемо, и ничего не давало. Двигаться на узком пространстве было практически невозможно, спали мы на нарах, конечно без белья, и кажется, даже без матраца. Скупой тюремный рацион военного времени. За дверями гулко гремели шаги часовых, которые то и дело заглядывали в дверной глазок. Ночью маму несколько раз вызывали на допрос, и мы надолго оставались одни, больше всего боясь, что маму уже никогда не увидим. В таком положении оказались несчастная мать со своими малолетними детьми - мне в то время было 7, а брату 5 лет.

После первой "обкатки" в гестапо нас перевели в рижскую Центральную тюрьму, в еврейскую женскую камеру. Трудно себе представить, особенно в современном благополучном мире, какую крайнюю степень человеческого страдания, болезней и ужаса сосредоточила в себе эта камера в 1944 году. Там находилось 36 человек, на площади, первоначально по тюремным меркам, видимо, предусмотренной для 15-20.

Правда, многих женщин можно было скорее принять за тени или привидения. Настолько исхудалыми, измученными голодом и болезнями они были. Были такие, которые уже почти не могли передвигаться, и только апатично и отсутствующе сидели на своих нарах (лежать днём не разрешалось, за этим строго следили, а подъём был каждое утро в 6). Посреди камеры возвышалась параша (общий горшок), который каждый день двое дежурных выносили и опорожняли в туалет, куда выпускали нас только утром на очень короткое время для жалкого умывания без мыла и полотенца. Остальное время суток приходилось пользоваться парашей на виду у всей камеры, причём у многих от голода и антисанитарии был постоянный понос, и вонь стояла такая, что трудно было дышать... Спали на соломенных тюфяках, днём и ночью нас ели вши и клопы - неизменные спутники человеческих бедствий. Раз в неделю нас выпускали на

"прогулку" в тюремный двор, четверть часа мы ходили по кругу в затылок друг друга - кругом одни камни, часовые и зарешёченные тюремные окна (иногда через эти окна заключённым всё же удавалось передавать друг другу какие-то сигналы), ни росточка, ни деревца, только унылое шарканье ног по камням.

Голод был страшный. В день нам полагалось 2 кусочка хлеба, так называемый суп "Коксагиз" - отвратительная жижа, в которой иногда плавали какие-то отбросы, 50 грамм масла в неделю, иногда выдавали картофельную шелуху, которую упорным взбиванием жестяной ложкой можно было довести до серовато-беловатой воздушной массы, казавшейся большой по объёму. Я была большим мастером этого взбивания, но маленький Лёня никогда не добивался желаемого результата, а просто сразу съедал шелуху. Неудивительно, что, когда пару раз нам случайно удавалось добыть из мусорных ящиков тюремной кухни обглоданные кости, которые только пахли мясом, то начинался невероятный пир. Кто-то закрывал собой на пару минут дверной глазок, и все с самозабвением сосали эти жалкие кости... Поскольку мы были единственными детьми в камере, маме удалось выпросить для нас раз в неделю кружечку молока. В других камерах режим был немного легче, но мы находились в еврейской камере.

Самый дорогой подарок, когда-либо полученный мной в детстве, был мамин дневной хлебный рацион, который она подарила мне в день моего рождения, когда мне исполнилось 8 лет.

Довольно часто в камере устраивали обыск. Тогда всех выводили в коридор, ставили лицом к стене, а в камере начинала орудовать целая свора надсмотрщиков - они переворачивали и вспарывали спальные тюфяки, выстукивали стены, и рылись в жалком скарбе заключённых. Я сейчас не помню, удавалось ли им находить какие-либо запрещённые предметы, и какие наказания за этим следовали. Помню только, что мы всегда дрожали от страха, что они обнаружат наш "тайник", спрятанный в тюфяке и содержащий карманный ножик, наручные дамские часики и ещё что-то. Подобные "сокровища" у других тоже были. Однако бог миловал - обнаружены они не были.

За 3 месяца нашей тюремной жизни маму несколько раз вызывали на допросы, на которых она по-прежнему утверждала, что она немка, но была замужем за евреем. Будучи очень умным человеком, и хорошо

разбираясь в психологии немцев, она, видимо, смогла убедить их в этом. Может быть помогло и то, что мы с братом были единственными детьми в тюрьме, к тому же в 44 году исход войны был уже ясен и многим немцам, и они действовали осторожнее. Как бы то ни было, в один прекрасный день, кажется в конце мая – начале июня, нам велели собрать вещи и вывели нас из камеры. Мы едва успели попрощаться с сокамерниками, волнение было ужасное: никто ведь не знал, что нас ожидает, могли разлучить с мамой, просто убить - всё, что угодно можно было ожидать. Эти мысли мучили нас, пока мы сидели в комнате ожидания тюремного начальника. Там же в это время оказалась староста нашей камеры, довольно отвратительная и наглая особа, в задания которой, видимо, входила слежка за другими заключёнными. Поскольку она знала о тайных "сокровищах" всех заключённых, у неё хватило нахальства сказать маме, чтобы она отдала ей дамские часики, последний хоть сколько-нибудь ценный предмет, сохранившийся у нас, угрожая в случае отказа, донести о часах начальнику. У мамы, однако, хватило мужества ей отказать: "Часы могут понадобиться, чтобы спасти жизнь детей, я не могу их отдать". Вскоре нас вызвали к начальнику, который объявил нам, что нас переводят в концентрационный лагерь Саласпилс, впоследствии ставший известным, как один из лагерей смерти, но тогда казавшийся нам чуть ли не санаторием, т.к. было известно, что евреев в то время там уже не было, а следовательно можно было предполагать, что условия будут несколько более мягкими, чем в тюрьме.



Саласпилс находился километрах в 30 от Риги, в лесу, в стороне от дорог, чтобы не привлекать внимания. Мы прибыли туда в очень жаркий день, и стоя под палящим солнцем, ждали несколько часов, пока нас

отвели на регистрацию. Учитывая наш возраст и плачевное физическое состояние, можно сказать, что это было настоящей пыткой. Подобные пытки в Саласпилсе применялись широко, и мы не раз были их свидетелями. Например, очень принято было провинившихся в чём-то заключённых заставляя по команде надзирателя приседать на карачки, тут же снова вставать и опять приседать. И так до тех пор, пока измученные, и без того слабые заключённые не поднимались больше, а оставались лежать, несмотря на побои.

Лагерь состоял из многочисленного количества бараков, расположенных вдоль "улиц", куда утром и вечером выводили всех заключённых на переключку. Там тоже приходилось бесконечно стоять, пока считали и пересчитывали. Самое страшное было, если при этом кого-то вызывали из рядов и куда-то уводили. Такого человека больше уже не видели, и совершенно справедливо предполагалось, что его расстреливали, а потом сжигали вместе с другими трупами. Смрад и дым от этих кремаций был явственно виден и ощутим, и я ещё помню, как мы с другими детьми смотрели, как поднимался этот зловонный дым над лесом. Газовых камер в Саласпилсе не было, но и без этого там погибло и было замучено большое количество людей.

В каждом бараке помещалось несколько сот человек, которые спали на нарах в 3 этажа. Там же заключённые держали свой жалкий скарб. Этот "интерьер" теперь хорошо известен по документальным кадрам из фильмов о Холокосте. Во всех лагерях, очевидно, картина была схожая. Мужская часть лагеря была полностью отделена от женской. Тем не менее, многие находили способы общаться с противоположным полом, и всегда бытовали лагерные флирты и романы. Я хорошо помню, что мама иногда "подрабатывала" тем, что писала любовные письма по заказу полуграмотных влюблённых. Эти записочки потом скатывались и забрасывались в определённых местах.

Страшное впечатление производили эпилептики. Их почему-то было очень много, и у них постоянно случались припадки. Почти каждый день кто-нибудь вдруг падал и бился в судорогах. Глаза закатывались, язык заваливался, на губах появлялась пена. Кто-нибудь садился на бьющегося верхом, и старался раздвинуть зубы, чтобы больной не откусил себе язык. Такие сцены навсегда остались в памяти.

Тем не менее, по сравнению с еврейской камерой тюрьмы, Саласпилс казался нам чуть ли не домом отдыха. К тому же нам здорово

повезло:

Каждый барак имел свою старейшину из заключённых. В нашем бараке таковой оказалась довоенная знакомая мамы - Татьяна Шалфеева. Эта дама, которой в то время было около 45 лет, до войны была владелицей элегантного салона дамской одежды. Мама несколько раз у неё шила. Татьяна была еврейкой, но вышла замуж за православного священника Шалфеева. Детей у них не было. В то время она была уже вдовой, и в лагере никто не знал, что она еврейка. Арестовали её за то, что она слушала запрещённые радиопередачи Би-Би-Си. В лагере у неё было совершенно особое положение: она была любовницей коменданта Краузе.

Как только нас впервые привели в барак, она сразу же узнала маму, и с тех пор всячески старалась помочь нам: то приносила какую-то еду, то что-то из одежды. Кроме того устроила маму на сравнительно лёгкую работу - чинить солдатское обмундирование. Её покровительство было просто бесценно для нас. А в дальнейшей нашей судьбе она сыграла выдающуюся роль.

В лагерь мы попали в июне 1944 года. В то время, как известно, советская армия уже гнала немцев на запад, и к августу линия фронта настолько приблизилась к границам Латвии, что фашисты были вынуждены заняться ликвидацией лагеря, желательно, оставляя при этом как можно меньше следов. Это решалось так: многих заключённых убивали и сжигали, других отправляли в лагеря, расположенные на территории Польши и Германии. Дети никого не интересовали, а их в этот момент было несколько сотен, т.к. незадолго до того прибыли большие эшелоны женщин и детей из западных областей Советского Союза, в основном, безграмотные, сельские жители, уже до войны, доведённые до крайней степени нищеты и ужаса советским режимом. Младенцев было немного, видимо, они уже поумирали, зато было большое количество искалеченных и больных детей, калек, детей со страшными увечьями, психически повреждённых и т.д. Пока матери находились при них, они ещё как-то существовали.

Но вот пришёл тот незабываемый страшный день - 12 августа 1944 года, когда из Саласпилса увезли остававшихся там взрослых, а это были как раз матери. Никогда не забуду это тяжелейшее переживание моей тогда восьмилетней жизни, вот и сейчас, когда пишу об этом, наворачиваются слёзы. Лёне тогда не было ещё и шести лет. Он

безутешно горько плакал в течение нескольких часов.

Был прекрасный солнечный августовский день. Мы все стояли на лагерном плацу. Женщин отделили от детей шеренгой эсэсовцев. Происходили душераздирающие сцены. С одной стороны истерически кричали и плакали дети, с другой - бились в рыданиях матери. Недоедание и антисанитарные условия привели к тому, что мама и мы постоянно мучились от гнойных нарывов. Лекарство было только одно - моча. Иногда рану обвязывали какой-нибудь тряпкой. И вот я ещё вижу, как мама с рукой на перевязи - у неё начиналось заражение крови - выходит из ряда построенных женщин, которым было объявлено, что их увозят из Саласпилса, подходит к одному из охранников, и что-то ему говорит. Сам этот поступок в той обстановке был очень смелым, т.к. её могли расстрелять на месте. Но, как видно, Бог хранил.

Эсэсовец не только выслушал её, (конечно, этому способствовал немецкий язык, а кроме того он знал, что маме покровительствовала Шалфеева), но и выполнил её просьбу. А дело было вот в чём: за несколько недель до того Татьяну Шалфееву освободили из лагеря, и уходя, она обещала маме помочь, насколько это будет в её силах, спасти хотя бы нас, детей. Теперь настал час, напомнить ей об этом обещании. Мама просила эсэсовца передать Татьяне, что её увозят, и чтобы она позаботилась о детях.

После того, как увезли матерей, жизнь для оставшихся в лагере детей превратилась в сплошной кошмар. Я помню, что мы почти всё время апатично лежали на нарах. Из-за нарывов по всему телу двигаться было трудно. Вставали только, чтобы взять еду - подобие похлёбки, которую давали раз в день, да ещё, чтобы добраться до отхожего места, представлявшего собой жутко скользкую и вонючую выгребную яму.

В это время иногда стали приходиться женщины с воли, прочитавшие объявление о том, что лагерь расформировывается, и желающие могут взять детей. Но кто в то голодное и тревожное время мог польститься на обезображенных дистрофией и другими болезнями, еле живых заморышей? Чаще всего женщины уходили, не взяв никого.

К этому же времени относится эпизод с пистолетом, который заместитель коменданта Видуш приставил к моей голове, за то, что я недостаточно быстро вскочила с нар и приняла стойку смиренно при его приближении. Как ни странно мне было не очень страшно. Выстрелить он

мог запросто, но я каким-то образом чувствовала, что он просто хочет напугать меня и других детей вокруг. Кроме того этот тигр прекрасно сознавал, что его "звёздный час" прошёл, и скоро надо будет спасать собственную шкуру.

В один прекрасный день, в самом конце августа, нас с Лёней вызвали в комендатуру. Внутри нас не пустили, а велели ждать перед зданием. Через открытые окна мы видели, как разодетая в пух и прах Татьяна Ш. (в модном костюме с чернубуркой и в шляпе!) вела длинные переговоры с офицерами СС, кокетничая и применяя весь женский реестр "охмурения".

Прождали мы довольно долго, сильно волнуясь, т.к. отлично понимали, что решается наша судьба. Наконец, Татьяна выпорхнула с заветной справкой в руках, и велела нам следовать за ней. Я ещё была в состоянии двигаться, но Лёню пришлось нести. Татьяна тут же подозвала какого-то солдата, и попросила помочь. Так мы и двинулись через лес к шоссе на дороге, ведущей в Ригу - Татьяна на высоких каблуках, необыкновенно разодетая для военного времени, солдат с Лёней на руках и я. Нам всё ещё не верилось, что мы на свободе. Я особенно испугалась, когда на шоссе нам повстречалась машина с Видушем, который возвращался в лагерь. К счастью, он нас не остановил, ещё раз пронзил своим страшным взглядом почти белых глаз, и исчез навсегда. Его дальнейшая судьба мне точно неизвестна. Кажется, его повесили вместе с комендантом Краузе после освобождения Риги.

Татьяна рассчитывала подсесть в какую-нибудь попутную машину. Но это оказалось не так-то легко. По шоссе непрерывным потоком двигались переполненные грузовики с беженцами, убежавшими от наступающей Красной армии. Все они стремились в Ригу, а оттуда дальше на запад. Ведь никто не знал, как быстро приблизится фронт. Отдалённые раскаты орудий мы слышали ещё в лагере, и всегда радовались им. Однако, до освобождения Риги в тот момент оставалось ещё около 1,5 месяцев. Мы уже совсем выбились из сил (до города было около 30 км). Наконец один грузовик остановился. Нас с Лёней какие-то люди взяли на колени, а наша шикарно разодетая спасительница повисла с краю (борта были спущены), касаясь ногами чуть ли не земли. Продвигались мы медленно, всё время останавливали военные патрули, производившие проверку документов. Каждый раз я ужасно боялась, но наша справка действовала.

Поздно вечером мы добрались до Татьяниной квартиры на ул. Валдемара в центре Риги и тотчас же заснули.

Остаться у Т. мы не могли, туда приходил комендант. Он вряд ли был бы рад нашей встрече. Поэтому Т. немедля позвала свою знакомую, человека необыкновенной души - Евдокию Георгиевну Широкову, справедливо полагая, что она сжалится над сиротами. Тётя Дуся, была русская, замужем за евреем, в то время он тоже находился в немецком лагере. Брак этот был счастливый, но детей у них не было, и о том, чтобы взять ребёнка у них, видимо, уже раньше был разговор. Когда тётя Дуся увидела нас, спящих в одной кровати, таких измученных и жалких, её материнский инстинкт и высокая человечность тут же подсказали ей взять нас обеих. Она жила за углом на улице Дзирнаву, и уже на следующий день мы оказались у неё.

Тётя Дуся сразу же принялась отмывать, лечить и откармливать нас, что в условиях военного времени было страшно трудной задачей. По-прежнему существовала карточная система, было почти невозможно достать самое необходимое, но на базаре за большие деньги продавали такие "деликатесы" как чёрный крестьянский хлеб, мясо и кислая капуста. Продав немцам дорогое кольцо, тётя Дуся в первые недели нашего пребывания у неё, сумела побаловать нас этими, как нам тогда казалось, райскими лакомствами. (Когда советские войска вошли в Ригу, эта возможность пропала, т.к. на немецкие деньги уже ничего нельзя было купить). Нас сразу же показали врачу, который констатировал дистрофию, и заметил, что если бы мы ещё несколько недель оставались в лагере, у нас выпали бы волосы и зубы, и этот процесс оказался бы необратимым. Он же прописал нам ванночки из Eicherinde (дубовая кора), как лечение наших многочисленных язв. Мы эти ежедневные ванночки ненавидели, после них открытые раны бинтовались и прилипали к бинтам. Хорошо помню, как мы кричали, когда приходилось отдирать эти бинты. Но, очевидно, других способов лечения тогда не было.



В это время фронт уже вплотную подошёл к Риге, каждую ночь случались воздушные тревоги, нас подымали с кровати и тащили в убежище. Никогда не забуду отвратительный вой сирены, жуткий звук пролетающих бомбардировщиков и страшные разрывы совсем рядом. От ужаса стыли внутренности. Только тот, кто сам пережил такое, поймёт это чувство...

Особенно хорошо запомнилась ночь с 12 на 13 октября 1944 года. Мы лежали на нарах в бомбоубежище недалеко от Дусино дома. Там было полно народу, дышать нечем. Бесперывные бомбардировки. Мы пытались шутить, что это салют в честь Лёни, которому исполнилось 6 лет. Когда отступающие немцы взорвали железнодорожный мост через Даугаву, мы взлетели с наших нар под потолок от силы взрывной волны. В эту ночь немцы отступили, и к утру пронёсся слух: Красная армия заняла город.

ОСВОБОЖДЕНИЕ! Невозможно было поверить в это чудо. Мы выползли из подвала. Нас ослепил яркий солнечный октябрьский день. Кругом дымились развалины, но Дусин дом, слава Богу, стоял. Всюду стояли солдаты с автоматами, очевидно, ожидали, что из подвалов могут выползти и спрятавшиеся немецкие военные. В Ригу были введены монгольские или среднеазиатские части, и первое, что бросилось в глаза - это экзотическая внешность советских солдат. Азия! Не раз в течение всей моей жизни потом приходили на ум слова Ромена Роллана: "Спаси нас Бог от наших спасителей!"

Эту цитату не надо воспринимать как признак чёрной неблагодарности по отношению к советской власти. Мы никогда не забывали, что только поражение фашистов спасло нас тогда от верной смерти. Но дальнейшие события показали, что цитата эта весьма применима к нашей жизни.

Вслед за повторным приходом советской власти сразу наступил голод. Деньги были обесценены. Никто больше не продавал продукты питания. По карточкам почти ничего не давали. Вот тут-то и пригодились бы те хлебные корки, которые я ещё недавно прятала под подушкой, пока тётя Дуся их не нашла. (Это была психическая реакция восьмилетнего ребёнка, почти половину своей жизни голодавшего.) Ночью военные патрули или просто шайки солдат-грабителей бесцеремонно врываются в квартиры, и отнимали у перепуганных жителей, как жалкие припасы еды,

так и все понравившиеся им вещи. После нескольких таких посещений, тётя Дуся попросила защиты у двух-трёх советских офицеров, с которыми она к тому времени познакомилась и подружилась. Надо сказать, что тётя Дуся была тогда ещё очень интересной женщиной, и как русская пользовалась особым расположением военных. После этого ночные посещения прекратились. Но ещё много месяцев и лет продолжалась тяжелейшая борьба за существование. Я помню, как однажды наша заботливая приёмная мама рыдала, обнаружив в стакане с молоком, который она с большим трудом раздобыла для нас, утонувшую мышь.

Между тем надо было нас лечить, т.к. нарывы по всему телу по-прежнему мучили нас. Сначала мы лежали в детской больнице, где нас обрабатывали жуткой чёрной мазью, каким-то лошадиным средством от чесотки, это помогло. Потом удалось отправить нас в детский санаторий в Огре. Там хотя бы была какая-то еда. Но и там нам не повезло: вскоре и Лёня и я заболели свинкой, и нас поместили в изолятор. Это был отдельный домик, стоящий, как нам тогда казалось, в глухом лесу. Днём к нам ещё заглядывал персонал с едой, лечения особого не было, а ночью мы там оставались совсем одни, и жутко боялись. Может быть поэтому, да ещё под влиянием высокой температуры, я однажды ночью увидела у своей кровати привидение. Оно было белое, огромное, и помахивало надо мной белым шестом. В ужасе я разбудила Лёню "Ты видишь, что тут кто-то стоит?""Да, вижу", подтвердил маленький Лёня. Привидение стало таять, и пропало, но в моей памяти оно осталось навсегда, вместе с чувством ужаса и заброшенности, которое мы тогда испытали. Впрочем, это, кажется было уже после окончания войны, т.к. я уже умела читать по-русски, и, болея, читала сказки, которые мне кто-то принёс.

Вспоминается мне день победы:

Мы с Лёней лежим больные в квартире у тёти Дуси. В раскрытые окна ласково заглядывает майское солнце. И небо такое голубое, а в нём самолёты летят, не бомбят. Не надо бежать в убежище. Не надо больше бояться! Невероятно!

II

Записано в 2013 году.

Мы жили у тети Дуси Широковой еще несколько лет после войны. Она была родом из Петербурга, очень образованная женщина, из дворянской семьи. Внешне она была очень интересной. Муж ее Абрам Самуилович Кан был когда-то Советским представителем за границей. Дуся даже была когда-то с ним в Палестине в двадцатых или тридцатых годах. Когда начались большие чистки 1937 года, его отозвали обратно в СССР. Он побоялся вернуться и прыгнул в Латвию. По специальности он был зубным врачом (или выучился на врача уже в Риге – точно не знаю), так что он открыл в Риге свой кабинет. Так они и жили до прихода немцев. Его тоже забрали в лагерь. Тетя



Дуся ничего не знала о его судьбе. Потом оказалось, что он выжил. Шел пешком из лагеря в Германии, передвигаясь на случайных грузовиках. В лагере он лечил немцев, и как-то это ему помогло спастись. Первые сведения о нем появились где-то через год после войны, но заняло еще много времени пока он вернулся в Ригу, кажется в 1946 году.

Вернулся он очень больным. И конечно им было трудно с двумя маленькими детьми. С продуктами были большие сложности. Когда еще были немцы, тетя Дуся могла выменять продукты на рынке за какие-то драгоценности, но когда пришли русские - уже все пропало, и мы почти голодали. Кроме того мне было уже около 10 лет и я была очень строптивая. А в это время уже нашлась моя мама. Она оказалась в Швеции и оттуда все время посылала телеграммы в Красный Крест и всякие другие учреждения с просьбой найти нас. И вот, наконец, кто-то ей сообщил, что мы живы и находимся в Риге у Евдокии Георгиевны Широковой. Мама сразу установила с нами связь (это было в 1945 или самом начале 1946 года) и стала посылать нам продовольственные посылки, которые

приходили в жутком развороченном виде. Это конечно была большая поддержка, но все равно тете Дусе было очень тяжело справляться с больным мужем и двумя детьми. И она написала маме, чтобы меня отдали в другое место, а если не к кому – то ей придется отдать меня в детский дом. Мама, конечно же, стала очень волноваться и написала Цельмераугсам, у которых мы прятались во время войны, и они согласились взять меня к себе.

И вот, кажется с 1947 года я жила у Цельмераугсов. А Леня остался у тети Дуси, которая его обожала. Оказывается, у нее когда-то родился мальчик и тут же умер, а больше детей у них не было. Возможно, поэтому она была так привязана к Лене, он же был еще маленький, с ним было меньше хлопот, чем со мной.



Жорж и Аня Цельмераугсы жили за Двиной в коммунальной квартире. Бытовые условия были тяжелее, но мне у них было очень хорошо. Они были прекрасные люди. Дядя Жорж был настоящий космополит, он и меня воспитывал в том же духе. Большевиков он ненавидел. Они были из бедных семей, работали всю жизнь на телеграфе. Выстроили две дачки на взморье и у них все это отняли, квартиру превратили в коммуналку, мебель стояла одна на другой в тех двух комнатах, что им оставили. Маленький деревянный домик за Двиной, без туалета. На кухне соседки со своими керосинками иной раз устраивали скандалчики. Так мы и жили. Леня называл тетю Дусю мамой, а я никогда тетю Аню мамой не называла. Они и не хотели, потому что они очень хорошо знали маму и очень ее уважали и никогда не замахивались

на ее место. Тем не менее, они меня адаптировали. Школу я закончила очень хорошо, но в институт меня не брали. Во-первых, мама за границей (а это считалось ужасным грехом), ну и, конечно же, потому что еврейка. И еще очень хорошо помнили, что мой папа капиталист... Куда ни совалась, ото всюду меня гнали железной метлой.

Мама все время пыталась забрать нас в Швецию, боролась за нас как львица. Она была очень сильным и по-своему энергичным человеком (несмотря на слабое здоровье), прекрасно писала и умела четко формулировать свои мысли. Она писала и Сталину и Эренбургу на конгрессы мира, на которые он приезжал. Иногда даже обещали, что детей отпустят, и они скоро приедут на пароходе, а на самом деле говорили, что это она должна вернуться в СССР. Мама конечно не хотела. Во-первых, это не была ее родина, она же из Германии и только вышла замуж в 1935 за рижанина. А кроме того она прекрасно понимала, что если она вернется, то нас всех сразу отправят в Сибирь. Так что она не вернулась, но все годы материально поддерживала обе семьи. Старики вскоре вышли на пенсию и смогли существовать только благодаря маминим посылкам. Она работала в Стокгольме на скромной должности в музее и все, что зарабатывала, тратила на эти посылки.

Впервые мы смогли встретиться только в 1957 году. Потом мама каждый год приезжала к нам и так до того как меня с мужем и дочкой выпустили, наконец, из страны. В 1974 году по израильской визе мы выехали в Вену, а там уже все было подготовлено для переезда в Швецию. Во время одной из наших встреч я услышала мамин рассказ о том, как ей удалось спастись.

Из лагеря в Саласпилсе ее вывезли в Германию, в Штуттгоф. Этот лагерь был еще хуже Саласпилса, и мама благодарила Бога за то, что туда не попали. Детям там выжить было практически невозможно. Она заболела сыпным тифом и чуть не погибла. Потом, когда этот лагерь стали ликвидировать в конце войны, их посадили на баржу и должны были переправить куда-то в другое место в Германии. На этой барже они плыли неделю, вокруг все время были взрывы от подводных мин. Больше половины людей погибли от слабости – их не кормили и не поили, а они все были уже очень слабые. В начале путешествия они должны были стоять из-за нехватки места, а в конце можно было лежать, так как места было предостаточно – мертвых выбрасывали за борт. И так 8 мая 1945 г. они приехали во Фленсбург. К этому времени распространился слух, что

Германия капитулировала и охранявшие их СС-овцы моментально разбежались. Они стали свободными, но большой радости не было – люди были полностью истощены, многие умирали от дистрофии. Какой-то солдатик дал маме таз с горячей водой, и она впервые за несколько месяцев смогла помыться. Какое это было счастье! Через несколько дней подошли пароходы Красного Креста, в том числе шведский пароход. Они хотели забрать всех, кто был не из Германии, было ведь очень много перемещенных лиц. Мама, конечно, не стала говорить, что она из Германии, она вообще никогда больше в Германию не возвращалась. Она сказала, что она из Латвии, что, в общем, тоже было правдой.



И ей удалось попасть на шведский пароход, на котором они прибыли в Малмё, на юге Швеции. Их прекрасно встретили, накормили, напоили и разместили в палатках. Им казалось, что они попали в рай. Потом она попала в лагерь для перемещенных лиц в Стокгольме, позвонила своим знакомым семье Маркуса Шторх из Риги (деловые партнеры моего отца), и Аня Шторх тут же приехала и забрала маму к себе. Они были довольно зажиточные люди, так что ни в какие лагеря они маму больше не отпускали. Мама была очень больна и выглядела как ее бабушка в 90 лет (а ей было только 45...). Они отправили ее в санаторий, где она полгода

поправлялась. Постепенно встала на ноги, стала работать в музее, нашла нас... Ну а дальше вы знаете.

О папе я, к сожалению, ничего не знаю. По всей вероятности его убили сразу же в начале войны.

Остается только добавить, что Евдокия Широкова, Анна и Георгий Цельмераугас признаны государством Израиль «Праведниками народов мира» и их имена высечены на стене почета в мемориале Яд Вашем в Иерусалиме.

